

## Человек и природа в отечественной и мировой литературе Борис Екимов «НОЧЬ ПРОХОДИТ...»

*Самые яркие проблемы рассказа:*

1. *Осуждение сталинских репрессий...*
2. *Как безграничная власть уродует душу человека...*
3. *Главное - душу спасти...*

На шумном станичном базаре, в субботу, среди бела дня, ходила расхристанная немолодая баба и кричала в голос: «Чакалка подох! Люди добрые, Чакалка подох! — Кричала она и плакала.— Да какой же черт его сумел пербороть, господи...»

Коренные станичные жители не ведали, о каком Чакалке речь, и бабьим речам внимая, посмеивались. Но выходцы хуторов Вихляевского, Тепленького, Тубы, Рубежного, Большой и Малой Дубовки, Головки тоже, Малой и Большой, Поповки, Ястребовки,— словом, всей забузулицкой стороны, тем было не до смеха. Лишь услышав, спешили они на зов, дотошливо бабу расспрашивали, а потом, в свой черед, дальше весть передавали. И пошла гулять по базару и станице помолвка: «Роман Чакалкин помер».

Весна стояла, апрель, майские праздники подходили, зацветали сады. А в тридцати километрах от станицы, на хуторе Тепленький, как и всегда в эту пору, беспутный бобыль Шаляпин уходил на летнее житье. В колхозе отсеялись. Последнюю деляну за Дубовским мостом кончали ночью. Шаляпин уже по-светлому трактор на хутор пригнал, поставил его и пошел домой. Добрый десяток дней он из трактора не вылезал и спал в нем привычно. А теперь, когда разом обрезался машинный гул и лязг, хуторская жизнь вокруг текла в сказочной тишине. Сладко постанывали голуби у амбаров, петухи орали вразнобой, захлебывалось скворцы, и редкие людские голоса медленно плыли над землей в весеннем сизоватом утре. В отвычку идти было, как-то неловко, тянуло сесть. Ноги подгибались и несли тяжелое тело словно вприсядку. Так всегда бывало после долгой осенней пахоты и сева и весной.

Перед самым домом встретил Шаляпина старый Кацура. Встретил и долго расспрашивал, что сеяли да как. Шаляпин все толком объяснил. Басок его словно в бочку гудел в разговоре:

— Бу-бу-бу-бу...

Говорил он не больно внятно, в десяти шагах уже и не разберешь, но зато слышалось на весь хутор:

— Бу-бу-бу-бу...

За этот говорок и звали его Шаляпиным.

Кацура — старик дотошливый и ехидный — в конце разговора подсмеялся.

— Теперь домой? — спросил он.— Хозяйство править? Огород сажать?

— Посадим,— пообещал Шаляпин.— Руки-ноги есть.

И так веско прозвучало его обещание, что старый Кацура на мгновение опешил и проводил Шаляпина удивленным взглядом.

А Шаляпин, последнюю сотню метров до своего дома одолев, прибыл домой. В хату он не пошел, а уселся на крыльце, перекурить и обдумать. Перед домом лежал бурьянистый огород. Новая зеленка и сухой старник сплетались там год от года, от низов напоздали терны. Крыша на сараях прохудилась, на базах гулял ветер.

Шаляпин хозяйства не вел. Спасибо хата была шифером ошелевана и накрыта и потому ничьих рук не просила. Но после ясного дня, высокого неба и солнышка не хотелось в дом. Там было неудобно. И потому из года в год, по весне, бросал Шаляпин свою насквозь прокопченную хату и уносил пожитки на берег речки, в займище. Там он летовал до холодов. И теперь, сидя на крыльце и покуривая, Шаляпин представлял, как обоснуется под старой вербой хорошо отоспится, в тишине и покое. Как порыбалит... Шаляпин был видом диковат: сивые патлы стриг редко, черную бороду запустил староверскую, из нее лишь глаза глядели да сизоватый нос. Любил он рыбачить. И когда сидел где-нибудь над речкой, в кустах, его можно было за лешего принять и до смерти перепугаться.

Покурив, Шаляпин вошел в дом. Там было сумрачно, тянуло из углов зимней стылостью, приторный запах горелой солярки не выветрился до сей поры. По зиме топил Шаляпин не дровами, а соляркою, удивляя хутор. Ставил в печь чугунок, заливал горючее, и дымила шаляпинская труба не хуже паровозной.

В просторный матрасный мешок сложил он свои пожитки: тюфяк да старое одеяло, котелок да чашку с ложкой – щербу хлебать. Кто-то наведывался в дом без хозяина. Валенки с печи стянул и бросил посреди хаты. Шаляпинское жильё не запиралось. И не считал кое-кто грехом попытать в его углах счастья.

Собрался Шаляпин быстро и зашагал к диким садам, к речке. Правда, к магазину он свернул, купил хлеба, курева, крупы и кое-чего еще.

— Будем щи варить,— пошутил он с продавцом и хохотнул добродушно.

Из года в год летовал он в привычном месте, под старой неохватной вербой, на заречной стороне против хутора. Кладка через речку была ненадежной, и без дела ее не переходили.

К своему логову Шаляпин пришел впору. Солнце уже встало «в дуб» и хорошо нагрело жесткое подножие вербы и землю. Кинув телогрейку, он сел возле дерева, чуя его живую горячую плоть. Мешок не стал разбирать, лишь вынул буханку хлеба, краюху отломил, намочил в сладкой речной воде, пожевал и заснул.

Он засыпал покойно, откинувшись на просторном подножии вербы. Засыпал, словно погружался в глубокий и светлый речной омут; опускался и слышал, как поют над ним, все тише и тише, лесные

птицы: как солнце греет, и ласкает ветер, и шелестит листва. Долгий сон смежил очи, обещая ему покой. Недоеденная краюха осталась в руке, на земле. Старая ежиха, учуяв Шаляпина, вышла из гнезда и занялась хлебом. Ежиха селилась тут пять лет подряд, знала Шаляпина и не боялась его.

Шаляпина знали все в округе: и звери, и люди. Странная это была личность. Родился и вырос он в Тубе, там и теперь жили его братья и сестры, отец с матерью. Но в родном хуторе не бывал он много лет. — Я — найда, меня отец с дерева снял, — коротко объяснял он холодность родственных отношений. В Тубе его, горемычного, оплакали и уже редко вспоминали. Словно и не было в семье старшего сына.

Тут же, неподалеку, на хуторе Рубежном, много лет вдовела жена Шаляпина с большой уже дочерью. И туда Шаляпин был не ходок. Он прижился на Тепленьком, бедовал здесь давно. Как пришел с трехлетней отсидки на чужой хутор, так и осел. Привыкли к нему, дали свое прозвище, Шаляпин, имя забыв. Он загуливал порой на неделю и тогда из хаты не выходил. Его ругали. Но Шаляпин, отрезвев, падал в ноги управляющему: «Прости». И грехи ему отпускались, потому что работником он был дорогим. В посевную, на пахоте, в уборочную — из машины не вылезал. Садился на бульдозер, на «Кировец», на «Беларусь» — везде его место было.

О дурных его заработках сказки рассказывали. Но текли эти денежки — вешней водой. Часто его обирали и в хате хозяйничали.

Так и жил Шаляпин. В бороде, волосатый, черноликий, в затерханной одежонке — страх посмотреть. На работу он шел, с работы, больше молчком. Порою бродил по хутору, иногда беседовал: «Бу-бу-бу-бу...» Зимой жил в прокуренной хате, летом — на воле.

И здесь, за речкой, в займище, жилось ему не в пример веселее. И долгой зимой мечталось о сегодняшнем часе, когда просыпаешься не в хате, а под зеленой крышей. Как теперь.

Под вечер, проснувшись, Шаляпин не сразу понял, где он: в сладком ли сне или наяву плещет вода, соловей потщелкивает и высится над головой в золотистом сиянии цветущая верба, и райский дух от нее. Он лежал, замерев, боясь спугнуть дорогую минуту счастливого сна, если сон это.

Но то была явь, конец апреля, щедрая весна. И, поверив, Шаляпин встал и принялся за дела.

У подножия вербы, на старом месте, поставил он шалаш, сухим чаканом его устелил и накрыл. Достал из ухоронки удочки и быстро наловил рыбы на уху: жирных сазанчиков, громко чавкающих круглыми ртами, и черных окуней с алыми плавниками. Ловить рыбу Шаляпин умел. Он все лето жил рыбой, неверным деньгам не доверяясь.

Скоро поспела уха.

Текучая вода подшептывала в камышах, плескалась рыба. На хуторе, за рекой, встречали скотину, и коровий мык стоял, людские зовущие голоса. Садилось солнце остылым шаром. И в вечерних сумерках, приглушая зелень, словно вскипала сахарная бѣль цветущих садов. Топили округу пенистые яблони и терны; могучие храмины груш вставали беломраморными глыбами. Солнце уходило, зажигая редкие высокие облака. А над речкой стояли вербы в полном цветении. Их золотистые главы поднимались все выше, словно уплывали от земли, растворяясь в нежной зелени, в мягкой желтизне весеннего вечернего неба. А на земле наступала ночь.

Шаляпин похлебал уху и мыл котелок в теплой речной воде, когда поодаль, там, где лежала через речку ненадежная кладка из вербовых да тополевых веток, чей-то голос забормотал, словно ругаясь, потом слышались плеск и аханье — кто-то шел через кладку, направляясь, как видно, сюда, к шаляпинскому стану. Гости Шаляпину не были нужны. Он хотел покурить, пригасить костерок и уснуть до утренней зари, до клева. Но кто-то шел теперь берегом, ругаясь в голос: — Забрался... Сатаново дите... Лешак глупомордый...

По голосу Шаляпин признал Варечку Сисиху, престарелую бабу, которой видать крепко приспичило, коли она и сюда добралась. «Не дам,— подумал Шаляпин.— Приважишь, потом не отлепится». На хуторе Сисиха часто навещала шаляпинскую хату. Но то был хутор. А летом Шаляпин старался жить потрезвее.

— Черт безродный...— выбралась наконец на свет, на поляну Варечка.— Чуток не потонула. Оборвалась, а тама глыб... Кладку бы починил — мосток сделал...

Шаляпин гулко кашлянул, бабьей болтовни не одобряя. Кашлянул и поднял на Сисиху глаза.

Варечка Сисиха была стара и изнасилась до срока. Смолоду развеселая, с вечной цигаркой в зубах, теперь она гляделась глубокой старухой, с черным ликом, впалыми щеками и носом, с беззубым ртом. Сисихой прозвали ее смолоду за редкостное даже для деревенской бабы добро, которое она горделиво носила под кофтой.

Но все утекло, а к старому часу так и осталась Сисиха Варечкой, девкой, хоть и рожала, и сына вырастила.

— Ашаул, - подойдя к костерку, Снспха скинула мокрые чирики и, подол выжав, стала сушить его над огнищем.— Ищу тебя, ищу. Тута такие дела заходят, а он уваялся. Согреться бы? — зябко поеживаясь, спросила она.— Кабы не заболеть.

— Обойдешься,— коротко ответил Шаляпин.

— Ты ничего не знаешь,— посверкивая глазами, продолжала Варечка, будто и

не слышала отказа.— Такие дела...— она запнулась и выпалила: — Роман помер, Чакалкин, — и смолкла совсем.

— Не брешешь? — осекшимся голосом спросил Шаляпин.— Роман?

— Да чего... Да разве я такое... Да ты в уме...— замахала руками Сисиха,  
заохала, засморкалась.— Сам Тарасов сказал, на центральную он ездил. Помер, сказал, завтра хоронить. — Измокла вся,— показала она на мокрый подол.— Думаю, надо сказать... Как-никак...  
— Значит, помер...— проговорил Шаляпин, поднимаясь. В тернах у него  
была ухоронка, и он принес оттуда бутылку.  
— Помер, помер,— живея заговорила Сисиха.— Три дня всего пролежал,  
помер. Все же, как ни говори...  
Сисиха, получив желанное, приходила в себя, для Шаляпина же столь ошеломляющей была новость, что он не мог ей поверить.  
А над землей встала теплая весенняя ночь. Редкие соловьи, словно молодые неукы, щелкали, сбиваясь, и замолчали. Зато согласный хор «водяных быков» гудел по речке, не умолкая. И вверху, и внизу, и поодаль — по теплым разливам Ильмень-озера.  
— Значит, помер,— наконец поверил Шаляпин.— Второго веку не взял.  
— Помер, помер,— подтвердила Сисиха.— Тарасов говорит, вдарило его. Три дни колодой лежал, чуть дышал. Но при уме. Глядит и языком вроде варнакает. Недолго лежал. Завтра похоронять. Ты пойдешь?  
— Без меня закопают,— ответил Шаляпин.  
— Похорон будет богатый. Все же человек... Во славе ходил. Музыку привезут, железные венки из района. Помин...  
— Я б его помянул...— процедил Шаляпин.— Да и его помянут люди добрые.  
— Гутаришь не знай чего,— осуждающе протянула Сисиха.— Какой-никакой, а тесть, а ты такие слова...  
— А за что его здравствовать? Чего он доброго сделал? Одни вреды. Хмель уже вошел в Сисихину голову, и она ожила, распрямилась.  
— Ты, Шаляпин, несешь околесом... брехни всякие. А я знаю, я на блнзу была. А такие слова... бог не свелел так об покойнике, грех. Тем более он тебе не чужой.  
Сисиха говорила торопясь, захлебываясь. Покойного теперь Чакалина знала вся округа, и стар и млад. Должность у него была немалая, агент по сельхозналогу. Жил он в Рубежном, но под рукой его ходили все забузулицкие хутора: от Тубы и Вихляевки до Поповки и Ястребовки — все его. Так что был Роман человеком известным. А уж Сисихе вовсе родным. Роман приглядел ее смладу и прислонил к себе. От него она двух детишек родила. Дочка умерла в детстве, сыну Евгению сейчас было тридцать.  
Под Чакалкиным Сисиха жила хорошо, колхозной работы сроду не видала, принимая от хуторян молоко за налог. Правда, замуж ее не взяли, так и осталась девкой до седой косы. Но что замуж? Сколько баб

Сисихиной вольной жизни завидовало... И неспроста.

И потому теперь, после смерти друга, не могла, не хотела Варечка о нем худого слышать.

— Ему государство указывало... Вы лишь об себе, под себя гребли,— внушала она Шаляпину.— Все об себе, доху на вас нет! А он об государстве, у него об деле душа кровила. Ни ночью, ни днем покоя. Такая воина. Фронт требует... Все для фронта, все для победы! — гвоздила она кулаком, вспоминая давние слова, от которых и прежде, и даже теперь что-то внутри холодело.

Шаляпин глядел в огонь, Сисиху не слушая и не слыша. Но думалось ему о тех же далеких днях. Близ огня, в багровом его неверном свете смутно белели терны да неохватный корявый ствол вербы уходил ввысь, пропадая во тьме. Темнота висела низко над огнем, стояла рядом, а па той стороне, в хуторе, словно сбесились собаки. Одна за другой поднимали они тревогу, лаяли злобно, захлеб, не умолкая. Вот и Тарасов кобель зашелся в хриплом лае, за ним соседский - Чурьков. потом визгливая сучка бабки Сладухи. Зверь ли, чужой человек, но кто-то тревожил их.

Шаляпин поднял голову.

— Либо лиса? — подумал он вслух.

Сисиху другое волновало. Она Шаляпину и другим грозила:

— Государство... Вам не понять! Не к рукам цимбалы Страна напрягается...

Кулаческий элемент... Казачество... И тебя за такие слова... Никакой пощады! — горели глаза ее, рубила воздух рука. Молодость, золотая молодость словно вернулась к Варечке, все заслоняя.

Между тем собачий брех на хуторе понемногу стихал, по кто-то шел садом, насвистывая и напевая. Возле речки, па кладке, замолк, а миновав ее, снова засвистел. Шаляпин все слышал и потому не удивился, когда вынырнул из тернов и гаркнул: «Бросай оружие! Окружены!» — молодой мужик в костюме и шляпе.

— Женик! Сынок! — охнула Сисиха и замерла.— Ты отколь? Среди ночи?

Не отвачая, Женик поднял голову, прислушался к собачьему лаю, который

еще не утих там, за речкой, сказал:

— Вот это я им дал. Расшуровал. Теперь все проснулись. А вы неплохо устроились,— оглядел он поляну.

Варечкин Женин, по-хуторскому — Сисек, из дома ушел давно. Был он уже не первой младости, поистрепался но кочетился: волосы красил, шляпы и галстуки носил, часто женился. Теперь он жил на станции, в примаках, на хуторе не объявляясь. Это было к лучшему: к матери Сисек прибегал лишь в пору крушений. Приезжал, отлеживался.

Сисиха справляла ему одежонку, деньжат добывала, залезая в долги на несколько пенсий вперед. И отбывал он прочь. И теперь Варечке

почудилось горькое.

— Чего приключилось, сынок? — обмирая, спросила она. — Либо с Веркой... — не договорила и смолкла.

— Ха... Ты даешь, мать, — усмехнулся Сисек, закуривая, — Отец помер. Ты хоть знаешь?

— Знаю... — выдохнула Варечка. — А ты при нем был?

— Я еще позавчера приехал, живым застал.

— Ну и как?

— Чего как... Сучки эти косоглазые шипят. А отец, он со мной...

— Он тебя всегда жалел, — потеплела Снсиха.

В законной своей семье Роман Чакалкин несчастливо имел трех дочерей, мальчика так и не дождавшись. И потому, презирая обычай. Женина считал своим родным сыном, особенно смальства. Он привозил его в дом — жена не смела перечить — и баловал. Дочек приучил называть его братом. Правда, когда Женик в года вошел, Роман к нему поостыл. Но признавать признавал, да и домашние уже привыкли.

— Те шипят, змеюки...

— А отец? Он-то как? Рад небось? Ты возле него сидел? Он с тобой гитарил?

— Гитарщик из него... — махнул рукой Женик. — Так... Глядит. Ну, иногда слово молвит, — он вспомнил и усмехнулся. — Халдычит одно: труба да труба.

— Какая труба? Об чем это? — недоуменно спросила Варечка.

— Да кто знает. Вроде капец, кончаюся. До скольких раз яственло так говорил: труба, труба.

— Видно, не в себе... — вздохнула Снсиха.

А Шаляпин, поднял свою лешачью голову и сказал:

— Он, може, про деньги, про золото тебе говорил. Дескать, в трубе.

Прилюдно он говорил?

— Нет... — растерянно ответил Женик.

— Ну вот... — опустил Шаляпин взгляд и костром занялся.

Первой опомнилась Сисиха.

— Ты чего, Шаляпин? Либо умом рехнулся? Какое золото? Какая труба? — встревоженно говорила она. — У него смерть в глазах, он и гитарил без ума. А ты золото, деньги... — глаза ее испуганно бегали от сына к Шаляпину.

А Шаляпин молчал, в костерок наломал веток, поглядел, как горят они, а потом лишь сказал:

— Да это я так... Подумакиваю... Може, сынку...

— Ничего себе, подумакиваешь, — кипятилась Сисиха. — Нет, ты, Шаляпин...

А Женик сидел, прикусив язык, и сам себе приказывал: «Молчи, молчи... Перемолчать надо». А душа его горела, и в голову ударила кровь.

Шаляпин брякнул сдуру, как с дубу, не ведая. Но дурное слово его так в пору пришлось, и Женек корил себя за недогадливость. Ведь это он у отца выпросил, вымолил счастье. Наедине, у постели, взяв отца за руку и низко пригнувшись к нему, он шептал в большое оттопыренное ухо: — Отец, отец... Ты бы мне чего оставил. Ведь сестрам все. Они хозяйки. Меж собой поделят, а меня — в тычки. Они — в законе, я — найда. А ты бы мне, отец, оставил денегжат. — Женек знал, что деньги были, и немалые, даже золото. Он помнил, как в детстве отец показывал ему монетки с орлом и царем, показывал и смеялся: «Чуешь, чем пахнет?» И потому Женек просил: — Живу-то... Верка меня пилит. Да и мать — старая. Я бы ее к себе взял, докармливал. Я у тебя один сын.

Женек говорил, отец слушал, и рука его была горячей, взгляд добрым, но вот ответить не мог, лишь повторил несколько раз: «Труба... труба...» Явственно повторил.

Там, у постели умирающего, Женек злился, теперь же понял, что отец ему говорил о деле, о деньгах, о наследстве. Сообразить бы раньше и расспросить, о какой трубе речь. Что за труба? Печная? В ней деньги погорят. А может, золото?

Отец лежал пластом, руки не поднимая. Но глядел он вверх. И с каждой минутой все тверже и явственнее представлял Женек красноречивый взгляд отца, указывающий вверх. Конечно, у отца было накопленное на черный день, об этом все знали, хотя и не видели. Женуку иногда перепало. Отец хоть и прижимист был — особенно в последние годы, — побряхтывал, но помогал. И, умирая, он, конечно, оставил накопленное не этим косоглазым, а сыну, единственному, которого любил. И это справедливо. Дочерям остался дом и много добра в сундуках и комодах, за жизнь не прожить. Сыну он решил оставить деньгами.

И в гудящей от счастья голове Женика начинали гнездиться сладкие мысли о завтрашнем дне. Как возьмет он деньги. Как купит машину и будет ездить на ней. Новый дом построит, в два этажа. Наконец-то похорошему женится, отвязавшись от Верки. Возьмет себе бабу молодую, с образованием. И проживет счастливо, с новой семьей.

Горела, горела душа.

Женек стал довольно откровенно намекать на великие в его жизни перемены, которые произойдут вот-вот. Говорил о машине, о новом доме, о жене-врачихе. Варечка млела от счастья.

Но наконец они собрались и ушли. Время было позднее, а завтра предстояли немалые дела — похороны.

Шаляпин проводил гостей через речку, чтобы не перетонули, и вернулся к себе. Костерок притухал, и он оживил его пламя, повесил на треногу чайник.

Белая весенняя ночь стояла над землей. Светлоликая луна глядела с неба. В спокойной воде чернели прибрежные вербы. В ночной тишине



и покое в полный глас пели соловьи. Казалось, каждый терновый куст звенит, мешая трель и нежный высвист, хрустальный звон, щелканье и звучный раскат — серебряный гром по ясной скляни воды. Каждый терновый куст белым цветом цветет и бьет живым ключом соловьиного пенья.

В этот живой благовест временами врезался долгий протяжный стон. Ночная птица ли, водяной, но кто-то кричал, печально, с надрывом. И тоскою в душе отзывался неведомый плач, тоскою и болью.

Шаляпин чаю заварил и долго хлебал горячее, горькое, железом пахнущее питье. Такою ясною становилась голова, так много в ней помещалось и четко виделось все: от сегодняшнего часа до дней прошлых, далеких. И в дальние поля можно было уходить и жить в них, радуясь, скорбя и плача. Такое бывало нередко.

Как голодному кобелю вечно снится сладкий мосол, так и бедному Шаляпину часто грезилось доброе. О жизни как у людей.

Возле костра лежал красноватый мерклый отблеск. Для Шаляпина он был слишком светел, и, словно чего-то боясь, он ушел к берегу и там, в вербовой тени, над водою, сел и замер.

И скоро в тишину и соловьиное пенье пришел еще один звук, человеческий.

Тоненько, осторожно Шаляпин запел:

Ночь проходит, а я — у порога,

Словно тополь у края села.

Милый мой, ой, какая дорога

Далеко между нами легла.

Песня была бабья, и пел ее Шаляпин по-бабьи, подголашивая. Да и он ли пел? Мог ли пробиться из луженой и перелуженной глотки этот слабенький ручеек: «Может быть, полюбил ты другую, так скажи, сколько лет тебя ждать...» Он даже не пел, выговаривал, срываясь и глотая слова:

Почему ты мне писем не пишешь?

Или ты позабыл про меня?

Или ты, засыпая, не слышишь,

Как тоскую я здесь без тебя?

И во тьме, в тишине, в безлюдье никто не слышал его. И никто не видел, как, перекашивая волосатый лик, плачет Шаляпин. И как страшен он во слезах. А в душе было светло и виделось такое далекое. И пел, конечно, не он... Разве мог он петь, разве умел?

Это звенел ясный девичий голос в ночи, в весне. Далеким, дорогой голос из прошлых лет, ушедших, но незабвенных.

Ночь проходит, а я у порога.

Словно тополь у края села...

Много лет назад на хуторе Тубянском эту песню любили девчата.

Жалостливо и тонко выводила ее Молька Чигорова дочка вдовы Чигарихи. В ту пору жил Шаляпин в семье, старшим сыном. В детистой семье Нистратовых, где друг за другом семеро поднимались.

Потом, после всего, Молька уехала, завербовалась в Сибирь на стройки.  
Скоро, скоро я приеду,  
Да ты, мама, пожалей,  
Болят руки от лопаты  
И спина от кирпичей,—

припевали в те времена. Но старая Чигариха померла. Мольке некому было жалиться и не к кому приезжать. След ее затерялся.

А теперь, через годы, Шаляпин звал ее, пел для нее в ночи и плакал.

Или ты, засыпая, не слышишь,

Как тоскую я здесь без тебя?

К костру он не пошел. Ватник бросил возле воды и прилег. В ночи, в безветрии дух цветущей вербы, казалось, густел и чуяли сладость его даже губы. Вскипал и ярился соловьиный бой. Казалось, уже вся округа звенит единую, торжественную, к небесам восходящую песнь. А Шаляпину виделись далекие дни.

Трясучее железное сиденье, лобогрейка, потные, алостью отдающие крупы лошадей и высокие, хлеба — уборка. И Роман Чакалкин коршуном упал, желтоглазый и злой:

— Государственное зерно жрешь?! Пшеничку?! Суслачина... Какое имеешь право?! Привлечь?!

А он и вправду пшеницу жевал. Колос шелушил и жевал сладкую клейковину. Время несытое, и зернышку рад. А тут Роман налетел, Чакалкин. Как обидно и страшно... Он плакал и запомнил надолго, выходит, на всю жизнь. Потом, в зятьях у Чакалкина, спрашивал: «Чего ты пугал меня, отец?..» Роман посмеивался: «Должность такая...»

А должность у Чакалкина вправду была высокая. Его все в округе боялись — и стар и млад. Им стращали детей от зыбки: «Доорешься, Чакалкину отдам».

А он и впрямь был страшноват: высокий, костистый, с желтым зраком из-под нахмуренных бровей — такой заберет.

Помнилось в детстве, как Чакалкин кудель у матери забирал, прямо с прялки. Мать пряла и недоглядела. Заслышав дверной скрип, охнула — Чакалкин стоял на пороге. Шаг шагнул я уже возле прялки. Сорвал куделю и словно из мертвых рук матери напряденную шерсть вынул.

— Ребятам... Чулочки... Зима находит... — оправдываясь, бормотала мать, а сама, словно ненароком, старалась заслонить изголовье кровати.

Но Чакалкин эти хитрости давно изучил. Он отслонил мать, завернул у изголовья полость и вынул еще два клубочка и шерсть. Мать заплакала, попросила:

— Напряденное бы оставил...

— Недоимку сдай, тогда все — твое, — коротко ответил Роман, удаляясь.

Испуганная ребятня провожала его взглядами. Вот мелькнула высокая тень за окном, хлопнули воротца. В го-лос заплакала, запричитала мать:

— Чтоб тебя, ненасытного... Сладил с бабой...

Но Чакалкин и мужиков не миловал, рога сворачивал самым зубатым.

— Недоимка за сад шестьсот рублей...

— Да там корчевье одно, только название — сад, сенцо косим,— оправдывался хозяин.

— Какая ни вишенка, а есть, собираешь,— гнул свое Роман.— На этот год переведешь, поглядим. А ныне —плати.

А на другом базу иная беда:

— Картошка, я гляжу, у тебя никудовая...

— Да чем она тебе не поглянулась? — пугался хозяин.

— Никудовая. Козий котях. Не приму. Маслом или мясом заплатишь.

— Господь с тобой!

— Мне не господь, мне государство указывает, — строжел Чакалкин. Государство!

Время было несладкое: пять копеек за трудодень да граммов триста зернецом, а сдай, сдай... Масло, шерсть, картошку, яички да займу рублей на триста... И как с Романом спорить, когда за спиной его власти и суд... И, бывало, визжал в мешке поросенок, покидая хозяйский баз; овечки уходили спокойно за Романовой бричкой, швейная машинка «Зингер» — хуторская гордость — уплыла из двора Махоры Скуридиной в крепких Романовых руках. Любил Чакалкин и по сундукам ползать, одно слово — дер.

Ночь уже клонилась к утренней поре, скрылась луна за деревьями, когда Шаляпин уснул. Но сон его был недолгим.

Прискакал на заре верховой, коня оставил на тон стороне реки, у переправы, сам пошел к шаляпинскому логову, оставляя на росной траве полосы света.

— Дядька Василии!! — крикнул он, останавливаясь возле потухшего костра. Ты где?! Живой?!

Шаляпин проснулся, но полузабытое имя свое не сразу вспомнил и не враз уразумел, что зовут его. Наконец он отозвался:

— Тут я...— встал и пошел к гостю.

Ранний гость был родней, племянником он вроде доводился. Правда, видел его Шаляпин давно и, считай, забыл.

— Я к тебе, дядька Василий, с приказом. Дед Роман помер, не передавали? Ныне похоронять. В два часа выносить. Тетка Лизавета приказала...

— Приду...— кивнул лохматой головой Шаляпин.

Племянник уехал. Ему нужно было еще на Вихляевский сбегать, с той же вестью.

Шаляпин разжег костер, чайник подвесил, но не успела в нем вода закипеть, как от сада, из-за реки раздался зовущий голос:

— Нистратыч?! Ты там?!

— Здеся! — резво отозвался Шаляпин, потому что кликал его управляющий, единственный человек на хуторе, который настоящую фамилию ведал и по ней звал. Управляющий был годами не стар и неплохой мужик, уважительный, считай родня, с Тубьянского хутора.

— Чакалкин-то помер,— выходя на поляну, с ходу объявил управляющий.— Ты слышал?

— Слышал.

— Поедешь похоронять?

— Да надо бы...

— Поезжай, поезжай. Как ни жили, ни рунались, все ж — не чужой. А смерть, она... Все

помрем. От колхоза поедут. А я уж... Некогда, — сказал управляющий, словно извиняясь, хотя, казалось, что ему был шаляпинский тесть, не родня, не начальство. Но...

Романа Чакалкина знали все. И конечно, сам управляющий знал его с малых лет. Старое УШЛО без возврата, но тягостная Романова власть над округой долго жила наследской памятью. И по-прежнему углядев издали журавистую Чакалкина фигуру, добрые люди сворачивали от греха. Побаивались его даже колхозные власти. Длинные руки были у Романа, и сила из них до последних дней не ушла.

Управляющий вышел из дома в легких чириках и по густой росе в саду да обережье штанины измочил и теперь, выжав их, возле костра пристроился.

— Поезжай, — говорил он. — Возьми моих коней, бричку. Деньги-то есть? — Он от шаляпинской зарплаты всегда прихоранивал на черный день. — На, возьми на похороны. Хотя там похоронят, но все же.

Он вынул полусотку и протянул Шаляпину. Тот взял.

— Лошадей запрегешь, не забудь Сисиху. Нехай с то-бой едет. И дюже там не галтайся.

— Схороню и нынче назад, — ответил Шаляпин.

— Вот это правильно. Помяните там, посидите — и приезжай. Сисиху привози. Нечего ей там галтаться. Тут отдохнешь. А с той недели сядешь на бульдозер. Пока то да се, дороги почистишь, за ямы надо браться. Сенаж подойдет. Начнутся дела. Управляющий говорил, говорил, а потом сбился, внимательно поглядел на Шаляпина, спросил:

— А может, там останешься? Лизавета теперь одна. Люди вы немолодые, а без мужика...

— Схороню и вернусь, — коротко ответил Шаляпин.

— Ну, гляди, — вздохнул управляющий и поднялся. — Ты зайди к Солоницу, у него ножницы, машинка. Пускай тебя пострижет. Все пообразней будешь. А то покойника перепугаешь, — засмеялся управ, уходя. Шаляпин все сделал честь но чести: подстригся у Солоница, в речке обмылся, новую рубаху надел, запрег лошадей.

Варечка Сисиха пораньше убралась, вместе с Женином, на доме их висел замок. Шаляпин об них ничуть не пожа-лел, спокойнее будет, без галды.

Протарахтела телега по кочкастой хуторской улице, перебралась через плотину, а за речкою дорога пошла торная. Займищем трактора да машины не ходили — глухая колея. Кони сами пошли наметом, проминаясь, потом легкой рысью бежали и бежали не спеша. Возница ИХ не торопил. Он сидел развалясь, опустив вожжи, и ничуть не тревожил его мягкий постук копыт и колесный бег. Он ехал, словно плыл, просторным логом среди зелени и жел-того разлива лютиков. Потом пошли тополя в багряной одежде

тяжелых сережек и светлая зелень берез, тоже в сережках, но невесомых. По низинам золотые ивовые кусты сняли под солнцем, сзывая медовым духом жужжащую тварь. По лужкам желтый одуванчик цвел и куриная слепота, тюльпаны и синеглазая мята, пахучая кашка и полные сладкого сока красные сосунки — отрада ребятишек. Куковала кукушка, удода долдонили вразнобой. Малый жаворонок поднялся с дороги и зазвенел, и стога-лосое небесное эхо повторяло песню его вновь и вновь — весенняя благодать. И разомлевший Шаляпин забыл, куда едет он и для какой нужды. Забыл и будто задремал под ясным солнцем и небом, среди зелени. Но так явственно вдруг привиделся покойный Роман Чакалкин, желтоглазый тестюшка дорогой. Так ясно привиделся, даже испугал. Сами собой дернулись руки, останавливая коней: «Тпр-р-у...»

Кони встали.

Куда, зачем и для какой нужды едет он? Зачем нужен этот тесть, даже покойник? Зачем все нужны?

Другая весна, давнишняя, заставила отступить день нынешний, его святую благодать.

Женился Шаляпин неожиданно и довольно странно. Свою будущую жену, Лизавету, младшую дочь Чакалкина, знал он еще в школе. Девка была задавучая, хоть и косенькая, в сестер, да вдобавок хромая.

— Моя мамка все лежит. У нее врачи ожирение сердца признают, — хвалилась она. И ребятня завидовала барской болезни. Свои-то матери были черны и худы, словно галки. Где уж им...

А женился Шаляпин нечаянно. Они уже в возраст вошли, и Лизавета зазвала его как-то в дом. Она такой же и осталась — хвалюшей. В дом зазвала и стала приданым гордиться. У Чакалкиных гардероб стоял, — кром сундуков. Зеркальный гардероб, лакированный. И оттуда, из таинственных недр его, вынула Лизавета костюм: черный, жуковый, суконный. Шаляпин остолбенел. Он, в своей семье, из гуней не вылезал, из крашеной мешковины да пятнисты немецких плащ-палаток. А тут костюм, шерстяной... Бедная голова его закружилась. Он гладил осторожно рукой мохнатый ворс, вдыхал горький запах нафталина. А Лизавета, разойдясь, накинула оторопевшему парню пиджак на плечи.

— Это жениховский костюм... для жениха.

Накинула словно не пиджак, а колдовскую сеть. Шаляпин глянул в зеркало, увидел себя в черном сукне и занемог. Он во сне видел себя в черной суконной паре и наяву. Соседскую Мольку Чигарову словно забыл, и она издали следила за ним заплаканными глазами.

Сговорили и поженили молодых быстро. Роман заехал к новым сватам, пообещал: «До веку буду счастливым и вас не забуду». Отец с матерью от радости потеряли себя, забыв о дурной славе невесты и о соседской Мольке, какою с малых лет сношенькой величали. Так ушел Шаляпин в зятя.

А поместье Романа Чакалкина велось просторно и богато. Две коровы да летошники, свиньи, овечек полсотни, добрый табун гусей, даже редкостные но тем временам индюшки курлыкали па подворье. Зерна у хозяина хватало

на всех, и о пастьбе не нужно было тревожиться, о сене — за все Чакалкин расплачивался спасибом.

Из двух колодцев, что выкопал сельсовет на хуторе, один оказался на Романовом подворье, туда даже ближним соседям был путь заказан. И цвел огород Чакалкина на вольной воде.

В родном шаляпинском доме снятым молочком забеляли пустые щи, хлебушку радовались. На Романовом столе любили баранину с острым гардалом, пухлые каймаки с ведерных казанов, докрасна томленные каймаки с пышками, блинцами, варениками — слаженое да соложеное не переводилось.

На таком дворе грех было сидеть сложа руки. И Шаляпин впрягся. Никто его не понуждал. Он лез в работу, словно могучий борозденый бык. За год-другой поставил он новые базы и летнюю кухню — просторный флигель; прихватив соседскую пустую деляну, посадил Шаляпин сад всей округе на зависть, да не абы какой, а в добрую сотню корней, с яблонями, грушами, желтомясыми и черными сливами, сладким калеградским терном. И даже виноградом.

И потекла, покати́лась молодая жизнь, и казалось, и вправду будет до смерти счастливой. Но недаром старые люди говорят: не хвались в три дня, а хвались в три года.

Романа Чакалкина, а теперь и молодых приглашали на все гулянки в округе. Роман везде не поспевал, но нередко лазывал честь.

Молодые веселились чаще. Шаляпин не жаловал пьянства, вина, но испытывал прежнюю страсть к своему жениховскому шерстяному костюму... На гулянках, в костюме, он был строгим и красивым. Синеглазый, бровастый. И словно городской.

На хуторе Мало-Головском, в апреле месяце, по весне, «подымали кашу» у бригадира, обмывая новорожденного сына. «Каша» была тороватая, съели двух овец и самогону попили немало. И под конец гулянки пьяненькая Настя Рабунова сошла с ума. Сбесилась и кинулась на Шаляпина.

— Отдай костюм! Сыми! — кричала она. — Васянин костюм! Васянин!

Чакалка забрал ненасытный, утянул из сундука, а ты хорошишься, гоголушка! Сыми! Сыми, поганое племя! Хвороба чтоб тебя поломала и лека не взяла! Васянин костюм!

Она кричала и плакала, безумны были глаза ее. а руки сильны. Ее тащили, пальцы ей выворачивали, а она не отпускала: «Отдай!!!»

На другой день Настена, отрезвев, до свету прибежала к Чакалкину и чуть не в ногах валялась, просила прощения.

Но прошлого разве вернуть?

Что-то помутилось и тронулось в голове у Шаляпина. Он стал задумчив и вдруг однажды ни с того ни с сего в трезвом виде спросил у тестя:

— Отец, помнишь, я пацаном еще был, пшеницу косил у Митякиной балки, а ты

налетел: «Зерно ншь... Привлэку...» Зачем? Ведь кужонок еще... да голодный...

Чакалкин усмехнулся, плечами пожал:

— Должность такая. Государство требует. А как же. Вам дай потачку.

Шаляпин отступился. Но неделю спустя снова старое помянул.

— Отец,— спросил он,— ты для чего у матери куделю рвал? Там шерсти-то было нам на чулочки. А ты...

— Должность такая, — гулко откашливаясь, произнес Роман.— Для государства. Одного пожалей, другого, а государство...

— А у тебя на подловке тридцать тюков, это чья? — осмелился Шаляпин.

— Моя, сукин сын! — не выдержал Роман.— Я сколь овечек держу, не видишь!

Овечек Чакалкин держал помногу. Но Шаляпину все казалось, что там, в тюках, и та, слезная, мамкина шерсть.

А однажды придумал Шаляпин и вовсе несуразное. Вошел он в дом и сказал:

— Там, отец, плотника гвоздей принесли, ведро. Бутылку просят, похмелиться.

— Конечно, забирай.

Бутылку Шаляпин унес. А ведра гвоздей Роман не мог найти. А когда спросил, то пьяненький Шаляпин ответил ему.

— Это государственные были гвозди. Я их государству. А то вы у государства,—

погрозил он пальцем.

Что с пьяным толковать.

А выпивать Шаляпин стал чаще и чаще, к домашней работе охладел, дичился семьи и, пьяный, то и дело к Роману приставал с разговорами:

— Скажи, отец, почему...

Роман поглядел-поглядел, а потом решил: «Не к шубе рукав». И посадил Шаляпина в один мах. Сел с ним как-то вечером выпивать, а потом, когда кончилось питье, вроде шутейно сказал:

— Возьми в магазине, делов-то. Завтра рассчитаемся, баба своя.

Продавщица Зинаида была и вправду для Романа своей. Пьяный Шаляпин пошел, словно бычок, и сломал в магазине замок, забрав пять бутылок водки. Дали ему три года.

Ах, как страшно там было, в неволе, в северной стороне. Среди чужих, одному... Как горько, как скверно, как тягостно... Шаляпин пытался бежать и удавиться, но Бог его сохранил и вывел живым.

Он вернулся на хутор, пришел к тестю и спросил:

— За что ты меня? Таковую казнь...

Роман был спокоен, холоден, и глаза его желто светились. И ответил он коротко:

— Неука учить надо.— И добавил пространнее, уже по решенному: — На моем базу тебе места нет. Я обговорил, иди на хутор Тепленький, живи и работай. Алименты хорошие плати. И не рыпайся. Тронешься с места, упеку — не вылезешь.

Шаляпин поверил. Поверил, перепугался и ушел куда велено. Ушел, словно в тину засел. И лишь о том молил Бога, чтобы не тронул его Чакалка.

А вот теперь Роман помер.

Шаляпин слез с телеги, в раздумье подошел к старому тополи, прислонился к стволу его и замер.

Вокруг, в тишине, по желтой полеглой осоке, по сухой траве и листьям что-то шуршало и щелкало, словно невидимый дождь сыпал и сыпал, не торопясь. Но то был не дождь. Это снизу, от земли, поднималась молодая трава, с хрустом пробивая старые былки и палый лист; это сверху, с тополей падали легкие чешуйки почек, открывая молодые листы, клейкие, пахучие. И сладкий, усыпляющий запах тленья уже перебивал острый дух молодой зелени. Хотелось нюхать его, им дышать.

Шаляпин решил ехать назад. Что эти похороны, горький помин, когда пришла весна, а он столько ждал ее, целую зиму. Сидеть сейчас на берегу, слушать и думать, глядеть не бегучую воду, на цветенье садов. А про Чакалкина забыть, пусть его хоронят другие.

Он уже решился и пошел к лошадям, когда сверху, из-за бугра показались вдруг Варечка Сисиха с Жеником. Вылезли на бугор, увидели Шаляпина, лошадей, загалдели разом и кинулись к нему.

И теперь втроем покатали прямой дорогой к хутору Рубежному, к покойнику Роману. Ехали, а Варечка, не пере-ставая, ругалась:

— Ну, Шаляпин... Вот ты какой человек, Шаляпин, выкаморный да забурунный, прям полоумственный. Ишь, не поеду... Рассалуда ты, боле никто. Мы идем-идем, да каким околесом, все ноги побили, перебродили сколь разов,

а ты...

Варечка ругалась и ругалась, слова сыпались из нее горохом, словно из дырявого мешка. Сыпались, и конца им не было. Шаляпин молчал. Нагнулся, насупил и молчал. А Варечка свое толковала:

— Гляжу я, ты в детский разум превзошел, а мы должны...— ей нужно было кого-то ругать, искать виноватого и ругать, потому что кто-то виноват был перед нею в этом мире.

Нынешнюю ночь она, считай, не спала. Сына успокаивала, думала о покойном Романе. Он умер и разом все оборвал и смешал в жизни Варечки. Словно упала с глаз пелена, и жизнь человеческая и своя собственная оказалась короткой и очень ясной.

Роман помер, и теперь как было жить. Они не видались давно, но нить, связующая их судьбы, была крепка. Она ведь долго вилась, и как без нее теперь...

Весь век, от молодости и до последнего часа, Варечка жила ожиданьем. Еще в девках, слюбившись с Романом, она ждала. Верила в слова его: «Со мной до веку будешь счастливой, до веку...» Она была молодой, красивой и настолько верила в счастье, что даже не торопила его. Что Романова жена?.. Разве она преграда? Романа можно было одним махом забрать, но Варечка любила не только мужика, но человека, под которым округа ходила. Она Чакалкина любила, которого знали все. А районное начальство разводов не хвалило. Могли забрать партийный билет. И Варечка ждала своего часа.



Купалась в Романовой любви и заботе, горделиво понимая, что ее дом — теплее. Здесь Роман дневал и ночевал, сюда нес и вез, больших лю-дей принимал, районное начальство. Чего еще надо? Варечка ждала, тем более что законная Романова супруга вечно охала и плакалась на здоровье, таскалась по врачам и должна была в конце концов помереть.

Шли годы. Сисиха старела, так и не узнав семьи. А ничего не менялось. Но и потом, уже старую, до последнего дня верила Варечка, мечтала, как в конце концов все же войдет она хозяйкою на Романов двор. Переживет законную супругу и войдет.

А Роман взял да сам умер. И разом все оборвалось. И остались на руках, словно при плохом гаданье, пустые хлопоты да разбитые надежды. И больше ничего впереди, кроме близкой смерти.

А тут еще Женик, словно с ума сошел, галдел про какие-то деньги, богатство. Засыпал и вскакивал, снова ложился. Ночь была длинной и тягостной, насилу Варечка дождалась ее конца.

На рассвете они ушли, торопясь, напрямую, а прямая дорога, как всегда, обманула, и пришлось брести через залитые луга — измочились, устали. И потому теперь Варечка ругала Шаляпина, благо он молчал. Женик дремал, свернувшись калачиком в задке телеги.

Кони легко несли телегу и седоков и к полудню замаячили маковки высоких рубеженских тополей-раин, а потом открылся и сам хутор.

У околицы, возле плотины остановились — отрясти дорожную пыль, Варечка умылась и заглянула в зеркальце.

Но что было глядеть? Надвинув на лоб черный затянув его потуже, она решительно уселась в телегу. Зато Женик долго оттирал брюки, разглаживал шляпу, редующие кудри муслил — хорошился, словно жених.

Ко двору Чакалкиных подъехали шагом. Много лет не бывал здесь Шаляпин, а без него соседи отстроились. Андрей Калиманов и Некулаевы, и когда-то первый на хуторе высокий Чакалкина дом словно присел, сделался ниже.

Во дворе, под жидкой сенью еще голого, просторного вяза стоял гроб. Он был вроде мелковат для Романа, и Чакалкин лежал на виду, в кителе с петлицами, носатый, нахмуренный, но без привычной фуражки с лакированным козырьком. Вокруг сидели бабы, родия в черных платках.

Просторный двор был пуст, и потому приехавшие оказались на виду.

Женика это не смутило. На правах своего он подошел к покойному, что-то даже поправил в гробу, с бабами перемолвился. Шаляпин, как во двор вошел, увидел дочь и поспешил к ней. Дочь была броваста и голубоглаза, в отца.

Теперь она сидела на крыльце, нянчила ребенка, белоголового мальчика.

Шаляпин, смущенно улыбаясь, тронул атласную детскую ручонку своим толстым жестким пальцем. Дочь не заругалась, и мальчишка не испугался Шаляпина, а что-то залепетал, засмеялся, цепко ухватил палец деда.

— Толомонит, - удивленно проговорил Шаляпин. — Хорошее дите, круглое, прям бурсачка.

Дочь улыбнулась ребенку и шаляпинскому удивлению.

И теперь, до самой поры, Шаляпин держался подле дочери и внука.

А Варечка Сисиха к гробу подойти решила не сразу. Всю жизнь они с Полиной, законной женой, друг другу желали горького. При встречах, бывало, дрались. И приходила Полина с батожком под Варечкины окна. Но все это было, было... Сегодняшний день помирил их легко и просто, как умеет мирить только человечья смерть. Варечка людям поклонилась, и ей ответили, дали место возле покойного. И теперь, по законному праву, Сисиха заплакала и заголоушила:

Заборона ты моя нецененая!

Ты заступа моя нешатомая!

Да закрылись твои острые глазочки!

Не гутарят сладимые губочки!

Закололи твои теплые рученьки!

О да, с кем теперь говорить, кому гориться!

Кому жалкие слова понесу!..

Резкий голос ее был слышен далеко, считай на весь хутор. А когда она захлебнулась в плаче, запричитала Полина, обголашився родненького: Два денечика без тебя словно год тянут! День идет-идет, а ночь не погибается!

И вся родня, весь хутор слушали, как прощаются с Романом вечные соперницы: любовница и жена.

Выносить покойного должны были в два часа. Но припоздали из райцентра оркестр и тамошнее начальство.

Стоял хороший весенний полудень. Облака тянулись одно за другим, пушистые и высокие. Романа на хуторе не любили, но хоронить, по обычаю, собрались все. Мужики все за двором курили. Чакалкина баз не привечал чужих, и теперь на него входить не хотели. Лишь бабы мыкались из кухни да в дом, готовились к выносу, и стряпня немалая шла для поминок. Толстые, косоглазые дочери Романа возле отца, считай, не сидели, доглядывая и охраняя дом от чужих. Среди баб суетился и Женик Сисек, крепкопохмеленный. Он хозяйничал, командовал вслух, а Романовы дочери, глядя на него, меж собою злились.

— Шабоня... прибудный шабоня,.. Чтоб тебя каламутная вода унесла...

Доглядать за ним надо, девки, доглядеть, а то...

Недоговаривали, но знали, о чем речь. Где-то лежало, должно было лежать у отца потаенное: деньги, золото. В разные годы, но видели и Раиса, и Маня, и Лизавета, и мать Полина видели большой кожаный кисет, который не зря отец хоронил. Кисет искали с того дня, как Роман слег. Искали в открытую и друг от друга таясь мать и дочери.

Сладкую жизнь тот кисет обещал, и взять его в свои руки было бы счастьем до веку. Но где он? Перекопали сундуки и комоды. Перевернули всякий хлам в сараях и катухах, но тщетно. Роман ничего не успел сказать и теперь уже не скажет. «Похоронные» триста рублей, да еще тысячу сразу Полина взяла. А остальные... Об остальных думали все. И уж какую ночь, считай, и не спали, боясь проглядеть друг друга. Рая и Маня Лизавету подозревали. Она при отце жила. Да и мать найдет — не скажет. Глядели, день и ночь друг за дружкой

глядели, а уж поганого Сиська ненавидели всей душой и ждали лишь конца похорон, чтобы выставить его с треском. А пока он шнырял — и нужен был за ним глаз да глаз.

Прибыл автобус из районного центра с медными трубами и людьми.

— Налить, налить музыкантам, — засуетился Женник. — Так положено.

Налили музыкантам, с ними, за компанию, выпил и Сисек. Выпил для храбрости, потому что наступало его время. Он выпил и словно отрезвел. Голова стала работать четко, заглядывая наперед.

Покойника подняли на полотенцах и понесли.

— Куды! Куды понесли?! — закричала Чакалиха и заголосила. — Он, да зачалась твоя последняя дороженька... Ой, да уносят тебя на чужих руках! И, обрывая ее истошный глас, у ворот разом ударил оркестр, оглушая и забирая власть. Теперь приказывал он: как идти и когда голосить и отдавать прощание.

А Женник Сисек в это время оттянул в сторону мать и прошептал ей твердо и горячо:

— Из хутора выйдем — в обморок упади. З-запомни.

Варечка глянула в его бешеные глаза и обмерла.

— Гляди... не пр-рощу... — прошептал он, отходя.

И Варечка со страхом поняла, что надо делать вешенное, иначе беда.

Последнее у

нее оставалось, последний в жизни дар — Женник. Она любила его без памяти и боялась. Сразу как-то ушла в сторону Романова смерть и собственная жизнь, в голове лишь одно вертелось: «А где конец хутора? Где? Возле Архипа? Или у амбаров?» Она оглянулась на сына, но тот уже был поодаль. На полотенцах, в мелковатом гробу покойный Чакалкни плыл над глинистой прибитой дорогой, сложив руки. Густые брови его грозно топорщились, словно сердился он и кому-то грозил. Но грех ему было сердчать, грех. Все делали как положено: красную подушечку несли впереди с двумя медалями, два железных венка из района, громко, на всю округу, играл оркестр. Четыре трубы да еще барабан с тарелками словно гром громыхали: бум! бум! бум! Варечка Сисиха, как Женник велел ей, до амбара дошла и с криком пала на землю. Пала и обмерла. Побрызгали на нее водой, в амбарную тень унесли. Похоронное шествие двинулось дальше, оставляя несчастную Сисиху, а с нею и Женника.

Недолго посидев возле матери и убедившись, что люди ушли, Женник проговорил:

— Ладно, полежи здесь, а потом за плотину уходи.

— А помин? — спросила Варечка.

— Помянем без них. Уходи скорее.

И Женник помчался назад, к хутору. Все уже было обдуманно и решено.

Конечно, о печной трубе говорил ему отец и показывал глазами вверх. Там он схоронил наследство и отдал ему, единственному сыну, а не этим дурам косоглазым, которые с деньгами и обойтись-то не смогут, спрячут в чулок — и все дела.

Нужно было успеть сделать все до той поры, пока вернутся с кладбища. Ведь потом — Женик это точно знал, — потом его выгонят и на порог никогда не пустят.

Рая, Маня и Лизавета — дочери Романа, — как и положено, вместе с матерью шли впереди других, за гробом. Сиспхин обморок они видели, косясь неприязненно на не-навистную бабу, которая и здесь показывает себя.

Варечку унесли, и о ней забыли, и лишь потом, когда свернули на кладбищенскую дорогу, а до кладбища было уже рукой подать, Лизавсте пришлось на ум нехорошее. Она огляну-лась, поискала глазами Женика и не нашла, А ведь он здесь, все время здесь, на глазах крутился.

— Сиська нету, — негромко сказала она сестрам. — Это Варечка придурилась.

Рая и Маня тоже стали оглядываться, но Женина нигде не было.

Лизавету жаром осыпало, и виделось ей, как поганый Сисек хозяйничает сейчас в доме, ищет. И вдруг найдет? Докажи потом. Нельзя, конечно, нельзя было сейчас уходить от покойного. Нельзя, и люди осудят. Но разве отдавать кровное свое, свое счастье в поганые руки можно? Можно ли?

Сквозь зубы проговорив сестрам: «Я за Женином догляжу... А то он там...» —

Лизавета отошла от гроба и, повернув, быстро, почти бегом направилась назад, в хутор. Она уходила и чужла на себе недоуменные, осуждающие взгляды. И дочерин голос слышала: «Мама, куда?» Она все слышала, и чужла, и кипела злобой: «Ну да... А там этот хорек... Не знай чего...

Хозяйничает...»

Рая и Маня поняли Лизавету и меж собой понимающе переглянулись. Но спустя минуту-другую иное им в голову пришло. «Поделят» - разом шепнули они друг другу, понимая, что Женик и Лизка могут вдвоем поделить отцовскую захоронку. Найдут, а им ни слова, и в воду концы. Рая и Маня почувствовали себя обойденными и обмануты-ми: они здесь вышагивают, а там...

Разом, не сговариваясь, они отошли от матери, оставляя ее, и припустили к хутору. Немолодые, толстые, они бежали неловко и неуклюже, словно две барсучихи, но вперед и вперед к хутору, к дому. Похороны остановились.

Сама Чакалиха, ничего не понимая, недоуменным взглядом обвела толпу и, дочерей не сыскав, ошалела. Что-то ударило ей в голову, и, все смешав, она закричала, заголосила:

— Ой, не стучите, не стучите! Ой, да чего же вы так колотите! Да большими гвоздями его забиваете! Ой, да землю глудками не валите! Мою кунушку болезную не будите!

А покойник был рядом,

— Не валите, больно ему! — прокричала Чакалиха, тяжело оседая на дорогу. Кинулись к ней.

Шаляпин стоял оторопев, когда к нему дочь подбежала и, плача, проговорила:

— Папа... Ступай их призови... Ступой, папа... Стыду...

Слезы дочери комом стали в горле у Шаляпина. Насупленный, злой, он

быстро пошел по Дороге вослед своей родне.

А у кладбища не знали, что делать, гроб с покойником стоял одиноко. В беспамятстве лежала вдова. И тишина, такая недобрая тишина легла, что всем сделалось нехорошо. И приезжий, из района, махнул рукой музыкантам: «Играй».

Хрипло запели трубы, ударил барабан: бум! бум! бум! Испуганное воронье поднялось с близкого бережья и сада и с криком закружилось над кладбищем, над музыкой, над оркестром.

Лишь к вечеру собрался Шаляпин домой. Все поминки пришлось провести: дочь не отпускала, да и сам он понимал, что не время уезжать. Вина он не пил, лишь сигарку смалил да ходил проведывать внука, безмятежно спавшего во флигеле, в зыбке.

Лишь вечером, когда разошлась и разъехалась последняя родня, Шаляпин тронулся в путь.

Дочь проводила Шаляпина до пруда. А за хутором Шаляпин крикнул коням: — А ну, добрые!!

Лошади взяли дружно. И катились колеса, мерный перестук копыт отдавался в душе радостью, будоражил и словно пьянил.

Встречный ветер охлаждал, разгоняя вечернюю духоту. День отгорел, а с утренней стороны напозлали какая-то хмарь ли, туча, обещая ненастье.

Шаляпин успел приехать, когда подошла к хутору вечерняя гроза. Она была первой и собралась не вдруг. - Сначала потемнело вдали — и оттуда, из черной хмари, А выплыла огромная туча.

Молнии беззвучно вспыхивали, потом стал доходить гром. Туча шла медленно, словно нехотя, какая-то необычная, страшная: с исподу синяя, а сверху багрово-седая, она тащилась коршуниным крылом через весь небосвод, волоча за собой сизое марево дождя.

Откаркало, нахохлилось воронье; порывы ветра раз за разом пробегали по бережью, словно упреждая. Потемнело. Все ярче полыхали тихие сполохи во чреве тучи, на короткий миг освещая угрюмое недро. И ветвистые молнии, словно дразня, коротко вспыхивали там и здесь. И наконец пришла туча.

Высокий тугой смерч, вихляясь, шел от далеких полей с пылью и свистом.

По хутору он пронесся грохоча, что-то вздымая, и тихие сады склонились перед ним, осыпая бели лепестков. По бережью смерч закружил, ломая сухие вершины; и старый тополь в тарасовском саду рухнул вдруг с тяжелым треском, запружая речку.

И, словно взамен ему, встало над миром огромное живое древо белого огня.

От темной земли и до седой тучи оно на глазах ветвилось и множилось — и встало во всей красе, освещая обмершую землю и далекую глубину небес из края в край. А потом рухнуло, словно старый тополь. И треснула пополам земля, открывая неведомое, и небесная хлябь ринулась с воем и ревом. Одна за другой вставали высокие ветвистые молнии, словно сухие деревья, трепеща

и разламываясь с треском и громовым рокотом. Но страшное было позади. Шаляпинскую крышу не промочило, и он сидел под легким кровом, глядел, и слушал, и думал, что эту грозу не одна душа помянет нынче вместе с Романовым именем и нечистой силой. А что до самого Шаляпина, то он в нечи-стую силу не верил.

А сейчас, когда гроза утихала и ровный весенний дождь шумел над землей. Шаляпину думалось доброе. Ему думалось, что теперь можно будет ездить к дочери, на Рубежный, ездить внука глядеть. А потом через время, когда пацан подрастет, он посадит его в трактор и прокатит. Мальчишки охочи до техники. И он научит внука водить машину, а сам будет рядом сидеть, поглядывая.

А потом мысли его ушли еще дальше. Столо думаться вовсе далеко: Молька Чигарова, но бабою, в теперешней поре. Шаляпин думал о ней светло, представляя Молькину семью, дом и детей вокруг. Конечно она жила хорошо, дай ей Бог. Она хорошо жила, но казалось Шаляпину, хотелось ему, чтобы в глубине Молькиной души, на доньшке, теплая память о нем, Шаляпине не уходила. И порою вздымалась, печалю душу.

О чем печаль? Да просто о днях жизни. О светлых часах ее, о людях, которые прошли мимо, по тронули душу. И как ее вытравить, эту память? Да и зачем? Пусть живет, пусть светит, пусть греет порою озябшую душу своим теплом ныне и до веку.

Ночь проходит, а я у порога,  
Словно тополь, у края села.  
Милый мой, ох какая дорога  
Далеко между нами легла.